

ВИКТОР БУДАКОВ



ГРАНАТЫ НА ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПОЛЯНЕ

РАССКАЗ

Опушки недалёкого от слободы Черноклёна-леса зелено дымились сильными травами, первозданные, задичалые. На них густо разрослись земляничники; ягод — пропасть. Удивляться ягодному изобилию было нечего: не до земляники народу, переживавшему лихолетные времена. И, может быть, мы были первые здесь “лукошники” с той поры, как война началась, как закончилась. Наши матери — спорые руки — сразу же принялись собирать ягоду в корзинки, мы же ели-наедались, пригоршнями бросая её в рот; соковитая, пахучая. И чем больше мы рвали земляники, тем, казалось, больше становилось её: пятнистый красно-зелёный земляничник стлался до дальних берёз на опушке, да и там, навёрное, не кончался. Земля, за месяцы войны измученная взрывами, чуждыми ей металлом, порохом и толлом, теперь с жадной удесятерённой силой исцелялась. И этот земляничник был первым вестником возрождённой жизни: ведь ещё многие по закраю леса деревья не отошли от войны, иные были выкорчеваны, другие, опалённые, надломленные, тянули ввысь нагие ветви, а ягодный скос у леса будто молчаливо свидетельствовал, что война — тяжкая быль, тяжкий сон — навсегда ушедшее прошлое, их нет... Есть только эти алые земляничины.

БУДАКОВ Виктор Викторович родился в 1940 году в Воронежской области. Окончил историко-филологический факультет Воронежского пединститута. Заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат литературной премии имени И. А. Бунина. Автор книг «Далеким недавним днем», «Миронова гора», «Осокоревый круг», «Родине поклонитесь», «Отчий край Ивана Бунина», «В стране Андрея Платонова» и других. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Но приманчивой россыпью, приманчивей, чем земляничины, чуть взблеснули в траве бело-красные крыльчатые весёлые, как игрушки, гранаты. На детские возгласы поспешили матери. Тревожным полукружьем постояли. “Надо сказать председателю, чтоб вызвал саперов”, — порешили они; а нас увели подальше от гибельных, в весёлой упаковке игрушек. Подальше... и никто не догадался, не почувствовал, что в Толиковой плетёнке, на дне её, прикрытая травой и рубашкой, уже лежала притаённая радужно-красная смерть; Толик первым обнаружил гранаты в траве и спрятал одну из них. Нам он ничего не сказал.

Вечером в левадном кустарнике раздался взрыв. Несильный, как бы хлопучесный, был он почти не слышен за мычанием коров, возвращавшихся с пастбища.

И за сорок без малого лет эхо и прогорклый дымок того взрыва истаяли, бесследно растворились в мире.

Но сухими вечерами на вербяном комле у своего дома подолгу сидит молчаливый слепец и время от времени что-то вычерчивает тонкой палкой, что-то рисует на пыльной земле.

И думаешь: почему так? Почему случай, перст судьбы, рок выбрал именно его, самого одарённого из нас? Почему именно глаза поразили у него? Без ног — тоже не радость — он всё-таки смог бы рисовать.

Кто вытачивал, кто красил для него эту зловещую гостью? Может, тоже художник, призванный под знамя со свастикой?

О земляничная поляна, прекрасная проклятая земляничная поляна, где на короткий миг и на всю жизнь — свет и тьма!

НЕ ОДНА В ПОЛЕ ДОРОЖЕНЬКА...

Из глубины наплывает первое впечатление большой дороги. Раздольное, чуть волнистое срединнорусское поле — ни конца, ни края. Чистыми волнами взмывают поспевающие хлеба, редкие терновники темными каплями плавают в них. На горизонте синеют перелески, неподалёку от лога-лещинника, по непаханому склону которого мы с матерью пасём овец, белеет цепочка деревенских мазанок.

А через всё поле, через лога и увалы, тянется старинный большак — прадедовская дорога. Неподалёку к ней примыкают четыре — в соседние деревни — просёлка, образуя что-то вроде длиннопалой ладони. Телеграфные столбы вдоль большака — как задумчивые стражи.

Уже несколько месяцев кряду эта дорога — дорога возвращений. Бывает, промчится выдавшая виды полуторка, мелькнут солдатские пилотки; бывает, не торопясь проскрипит арба-подвода — на ней возница и солдат, а то и двое в гимнастёрках. Чаще, однако, пешие. Один пройдёт, ещё один, ещё...

В тот воскресный день их возвращалось так много, что могло представиться да и представлялось моему благодарному ребячьему сознанию: все возвращаются в дома свои...

(Через четверть века в родном селе буду стоять у мемориальной плиты с именами погибших. Две роты не вернувшихся.)

Поле казалось бесконечным, и были другие дороги, и по ним текли человеческая беда и надежда.

Не одна во поле дороженька...

“ЕЖИ” НА РЕКЕ

Дон здесь в Отечественную войну был не привычной рекой, но прошиваемой пулями и осколками ломаной фронтовой полосой, разделявшей две противостоящие силы: немцев и наших. Кончилась война, но по затравелому, ржавому от осколков берегу и в воде чернели угрюмые “ежи”; скрещен-

ные рельсы тянулись из воды, из земли, как железные руки на время замерших великанов, как угроза, колючая проволока густо опутывала их и связывала в жёсткую, жестокую связь. Со временем поотцепили колючую проволоку, и подростки, вскарабкиваясь на верх рельсов, прыгали в реку, кто боясь, кто не боясь, кто ногами, кто головою вниз; и тогда вид “ежей”, до блеска захватанных ребячьими руками, при солнце и многолюдье был не страшен. Но в вечерние часы, при луне, в них вновь словно бы просыпалась угроза. Потом приехали военные и убрали ненужные заграды. Слобода избавилась от них.

У памяти, однако, своя боль, свои шипы и “ежи”. У памяти особое зрение, и она видит то, чего давно нет, она умирает и заново рождается в лучших из нас.

ТОНКАЯ РЯБИНА

...В деревушке той не было ни одной рябины. Стоял послевоенный весенний вечерний час, и — что ж? — смуглое деревце это странным образом возникло, затрепетало узорчатыми мерцающими листьями; был праздник Победы, и на подворье моей родственницы тётки Ольги — в хате не разместились — за праздничный стол собралась чуть ли не вся деревня, человек пятьдесят, и вот что бросилось в глаза: кроме нас с отцом, забредших из соседней слободы, не было здесь ни одного мужчины. Даже среди детей одни лишь девочки.

Все женщины показались мне тогда немолодыми и словно бы на одно лицо “тётками”, хотя иные из них, верно, были и молодые, и красивые, и, будь я несколькими годами старше, я бы это почувствовал вернее, а так... Вспоминай теперь, какую она была, с какими — серыми или карими — глазами, “тётка” Мария, чей голос, задушевно-пленительный, и повёл:

*Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина?..*

И женщины, сколько было их, подхватили песню, грустнее и краше которой я не слышал; они пели так, что сама загадочная песенная рябина словно бы обретала образ прекрасной женщины; я будто чувствовал её дыхание, и казалось, она сейчас откроется взору. В то же время и в каждой из певших словно бы соприисутствовал и образ рябины...

Мне только позже стала понятной потрясающая проникновенность того пения. Ведь каждая пела о своей судьбе: в деревню, отдавшую фронту полсотни мужчин, не вернулся ни один.

*Видно, сиротине
Век одной качаться...*

Гораздо позже, думая о том, как много у нашего народа песен, столь чутко выражающих его душевную жизнь, что их никогда не устаёшь слушать, потому что всё, что есть сильного и подлинного в нашем народе: доброта, открытость, ширь-размах, воля, тоска, согоревание, сострадание, радость, печаль, удаль — есть и в них, думал я неизменно и о судьбе песни-рябины.

Или тот, кто создал её, предчувствовал, что будет в серединной России деревенька, в которой после войны не останется мужчин, а лишь молодые вдовы?

Когда я приезжал в последний раз в родные места, деревеньки той уже не увидел. Бугорки глины, сотлевшие брёвна в бурьянах, яблоневые пни — вот и всё. Но часто, возвращаясь с работы домой и видя тонкие рябиновые деревья меж панельными глыбами, слышу, как давным-давно в вечерний час женщины поют свою чистую поминальную песнь.

ВО САДУ ЦВЕТУЩЕМ

Глухой мокрой осенью, возвращаясь из соседней деревни, завернул я в старый усадебный сад, черневший недалеко от дороги, на пологом косогоре. Не знаю, почему я решился на этот крюк: сад дважды в войну был полем боёв, столь ожесточённых, что уже и после войны смерть не хотела уходить отсюда, таясь в неразорвавшихся минах, гранатах, патронных обоймах; дважды здесь подрывались колхозные телята; и хотя потом сапёрная команда “пропахала” всё окрест, но старшие постоянно наказывали нас держаться от сада подальше.

И вот в первый раз медленно брёл я меж задичалых яблонь и груш, меж кустов терновника и сирени, по бурой палой листве, то и дело останавливаясь. На бугорках, смутно вычерчивавших основание разорённой усадьбы, в бурьянах, в палой листве на каждом шагу попадались осколки, гильзы, ржавый искорёженный металл. Иные стволы были будто срублены, лишь чёрные огрызки; из одного торчал, величиной с ладонь, осколок. Но не это меня поразило. В размытом водой овраге я резко увидел, будто ожёгся: кости, много костей и чуть в стороне два человеческих черепа... Мне уже минуло двенадцать лет, иными словами, я уже был в той предотроческой поре, когда чувствуешь ещё острее, чем в раннем детстве, и спрашиваешь уже не только других, но и себя. Кто они были? Двое наших? Или пришельцев? Отступавших или наступавших? Или то были наш воин и чужой, схватившиеся в единоборстве? Эти кости вымыты весенними водами, но разве здесь им место?

Так случилось, что я вновь побывал в том саду лишь годы спустя. Было самое начало мая, и сад стоял в цвету. Боже мой, как же он бессмертно цвёл, какой белый звон гудел вокруг! Правда, пни — пасынки войны чернели в бурьянах, как несуразно толстые грифельные стержни, но что до них было этому воскресшему саду, цветшему так яростно?

В празднично гудящем сновании пчёл, опыляющих белые деревья, в торжественном гуле майских жуков и шмелей, в свадебных празднествах божьих коровок — во всём начиналось новое, рождалась жизнь новая!

Но те черепа... Обелиск на братской могиле был почти невидим в зарослях сирени, тоже зацветающей.

И как же не благодарить Божий мир, если сад воскресше цвёл, переборов тлен, отраву тола, жестокие осколочные порезы, не столь давнюю здесь человеческую ненависть!

ИЮНЬ

...И всё бы идти по густому дурманному разнотравью, и дойти до ночью, где тихо вздрагивают мучимые бессонницей кони, и, упав на кошну молодого терпкого сена, глядеть на зыбкие очертания их, на неслышные почерки звёзд, на глубинный месяц июнь. Только надо поспешить, чтобы увидеть июнь, ибо мгновенен он, юный дозорный лета, не летом единым живущий, взявший от весны доцветающие ландыши и черёмухи и предупреждающий об осени изжелта-серыми, близкими к смерти бурьянами на косогорах. И начало зимы, когда падает первый снег, и начало весны, когда пробуждается дерево, замечает даже на городской площади, но июнь... Его видишь лишь вдали от геометрически уложенного камня, потому что только там, где горизонту ничто не препятствует быть горизонтом, кроме зазубрин леса, — только там он предстаёт во всём своём многоцветном откровении.

Итак, идти бы через июнь, по густому дурманному разнотравью, в которм средь белого нашествия одуванчиков темнеют тонкие колокольчики, да стрекохут кузнечики, да птицы гнездятся; видеть, как нежнейшая семицветная радуга вполсвета, вполнеба полыхает после дождя, как земляника краснеет час от часу, как над сиреневыми сумерками стоит сиреневый запах, хотя её, цветущей сирени, уже нет. Идти бы...

И хотя нет дороги в детство, но нахлынет из детства: тот черёмуховый, за Прораной луг, подводы в тени верб, ломаные цепи косарей, весёлые го-

лоса. “Поубавь, Илья Иванович: перепёлка поднялась!” Держали в руках серенькие комочки, потом бережно клали их в гнездо, окашивали его, оставляя зелёный островок. Таких островков к вечеру набиралось немало. В ночь оставались на лугу. И всю ночь — последние соловьиные песни. “Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...” Уже не потревожат: спят вечным сном в братских могилах войны, первые залпы которой раздались в июне.

И потому, — и, наверное, ещё надолго — при слове “июнь” в нас мгновенно словно бы вспыхивает, взрывается это число: 22 ИЮНЯ. Самый длинный день. И самая короткая ночь. И самая тяжёлая война.

...У наших предков июнь назывался червлень — красный месяц. С червлеными, красными стягами древнерусские дружины выходили на врага.

И весь июнь сорок первого, и четыре долгих года умирали мы под красными знамёнами, чтобы продолжилась жизнь.

Чтобы можно было идти и идти по родимой, вскормившей тебя земле и дойти до ночного. И там, упав на кошну свежескошенной травы, глядеть в мироздание и ни о чём не думать, потому что само — думой и радостью — наплывает: как прекрасен этот, в зарницах, июнь и как прекрасна земная жизнь...

ПИСЬМА ЖИВЫХ И ПОГИБШИХ

Война. Фронт и тыл. Шли в города и деревни письма, и бывало тех писем на день — как солдат на войне. Эшелоны конвертов — разноугольных, сразу всё объясняющих форм. Если в три угла конверт — значит: жив! Если в четыре, казённый — значит: похоронка! Страшные четырёхугольники, острые, как бритвы, углы! Хотя, случалось, и они — в горькую радость: казённое письмо-извещение из госпиталя: приезжай, забирай калеку!

Почтальон-письмоносец был как Харон, как Гонец, как всеильный Вестник. А почтальонами-то письмоносками были сплошь женщины, чаще девушки; взрослевшие от двора ко двору, за один обход деревни, потому что в сумке была непомерная тяжесть скорби и укромная ноша надежды.

— Много ль беды несёшь, дочка? — спрашивал у молоденькой письмоноски старик; он потерял уже двоих, а война ещё не кончилась, и третий сын воевал, если только ещё воевал...

— Радость несую, дедушка, радость!

И уже знала она каждую кочку и выбоину на дороге от почты в соседнем селе до деревни, и знала, как родную, каждую хату, и в каждой хате — у кого какие глаза. Потому что часто не выходило разговаривать иначе, как на языке глаз.

А сердце было молодое, а сумка тяжёлая...

БАНДЕРОЛЬ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ

Четверть века спустя после того, как он оборонял Севастополь, оттуда пришла крохотная, из фанерных дощечек бандероль. Раскрыл её и увидел полустлевшие документы своей молодости — комсомольский билет, воинскую книжку да клочок источенного сыростью письма, ничего не разобрать, кроме двух не окончательного выцветших слов “...тянется ночь...”

То была последняя ночь обороны, и он уже не мог отправить написанного письма, он даже с жёсткой солдатской ясностью подумал, что последняя ночь обороны — его последняя ночь вообще, когда увидел в предутреннем мраке молчаливо и угрюмо стывшие на взгорье немецкие танки, первый миг настолько расплывчатые, что их можно было принять за возы с сеном. Но откуда здесь было взяться им? Танки, да не просто вразброс, но в строгом соответствии с геометрией обхватов, котлов и колец, железная дуга, концы которой едва не упирались в море. Но как удалось приблизиться им так тихо и так близко? И как безнаказанно и казняще стоят, будто зная, что у обороняющихся уже нет ни противотанковых ружей, ни гранат, а в полку остались считанные калеки, отрезанные от своих с земли, с неба и с моря.

Самое противоестественное заключалось в том, что в танках ничем — ни единым звуком — не выдавалось присутствие наступающих, будто немцы, спеша заняться иными участками, покинули свои машины в уверенности, что те управятся и сами... Что-то психологически сламывающее было в этой молчаливой недвижной железной дуге.

На миг ему остро, до крика захотелось оказаться далеко по ту сторону от железной дуги, очутиться в родном селе, с высокой кручи взглянуть на зелёный в жёлтых вспышках одуванчиков дуг, увидеть семью, сына. Но тут же пришло и отрезвление и спокойствие. Только было жаль, что сын никогда не узнает, как он двести с лишним дней и ночей оборонял его и таких же малых, как он, защищал Севастополь, родное село, полевой край, и, наконец, всю Россию здесь, на этих безрадостных, выжженных огнем и солнцем приморских холмах. Не узнает сын, раз эти танки... их железная дуга...

Но и у жизни своя дуга! И ещё выпало ему освобождать Севастополь, и не только Севастополь: он вернулся в сорок пятом в родное село, и было у него одних лишь медалей “За освобождение...” да “За взятие...” пять. И сын узнал о том, как сражался Севастополь! Может, узнает и внук. Он ещё крохотный, но что ж... У жизни своя дуга!

СТРАННЫЙ ОФИЦЕР ИЗ ДРЕЗДЕНА

В сорок втором немцы заняли придонскую слободу и разместились в ней ротой. Офицеру — теперь уже никогда не узнать его имени — понравилась хата тётки Верухи: просторно, чисто, горница пахнет богородичной травкой, чабрецом и любистоком. С интересом человека, попавшего в мир непривычный, офицер разглядывал горницу. Вдруг он направился к дальнему углу, и тётке Верухе стало не по себе: она ещё неделю назад думала снять со стены портрет сына, сфотографированного в военной, офицерской форме, да забегалась-замоталась. Немец подошёл вплотную и всё глядел, глядел. А когда вышел, она кинулась снимать портрет и, волнуясь, никак не могла управиться: верёвка зацепилась за гвоздь. А немец неожиданно вернулся и сказал порусски медленно-раздельно: “Не надо! Может, я его уже убил... Может, он меня убьёт”.

Офицер был из тех, кто до войны много размышлял о судьбах германского и славянского мира в контексте всемирной истории. Его любимая книга была “Бесы” Достоевского, и он видел, как они разгулялись, перепархивая из одного лагеря в другой, словно бы из одной революции в другую; и страшней всего были те, что вселялись в души воюющих, ослеплённых ненавистью.

НЕ СРАБОТАЛИСЬ

После войны, в сухом августе, отряжает предрик уполномоченного в одно придонское село — “трудное”, дерзкое и мятежное ещё со времён первой большевистской продразверстки. Председатель райисполкома начальнически поучает: “Упрямцы ещё те! Без любви к нашей власти живут. Так что будь с ними пожётче. Как на войне! Поднимать надо сельское хозяйство!” Уполномоченный прошёл войну разведчиком, а в разведке демагогов не любят. Знал он, что за птица предрик — бывший дивизионный интендант. “Сельское хозяйство, говоришь, поднимать? Тогда почему же ты привёз из Германии не какой-нибудь лемех, а чемоданы барахла? Отрезы не плужные, а шёлковые да шерстяные?”

Не сработались.